

Николай Филиппович Павлов

Маскарад



Николай Павлов

Маскарад

«Public Domain»

1839

Павлов Н. Ф.

Маскарад / Н. Ф. Павлов — «Public Domain», 1839

«...В первых числах прошлого января, в одном из старинных домов Москвы, в одиннадцать часов вечера, мужчина лет шестидесяти, невысокого роста, худощавый, стоял небрежно, прислонясь к мраморному подножию огромной порфировой вазы. Заботливая судьба очертила около него небольшой магический круг, мимо которого иные проходили с благоговейной робостью и куда никто не осмеливался вступать; но такая оборона от многолюдной толпы, всегда рассеянной, всегда невнимательной, не могла защитить от разных поклонов и приветствий: они тревожили беспрестанно это беспечное положение, этот отдых старика. Он иногда в ответ гостям только что улыбался, только что протягивал руку, а иногда и совсем отделял свое тело от мрамора. Впрочем, блестящая суматоха маскарада, великолепное разнообразие костюмов, женская красота – ничто не отвлекало его внимания от одного предмета, от особенной забавы. Он не вслушивался в пискливые, искаженные голоса, не ловил этих дивных, заманчивых слов, брошенных на воздух, прошептанных на ухо, не разгаданных никем, но зароненных в чье-нибудь сердце...»

© Павлов Н. Ф., 1839

© Public Domain, 1839

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

12

Николай Филиппович Павлов

Маскарад

I

В первых числах прошлого января, в одном из старинных домов Москвы, в одиннадцать часов вечера, мужчина лет шестидесяти, невысокого роста, худощавый, стоял небрежно, прислонясь к мраморному подножию огромной порфировой вазы. Заботливая судьба очертила около него небольшой магический круг, мимо которого иные проходили с благоговейной робостью и куда никто не осмеливался вступать; но такая оборона от многочисленной толпы, всегда рассеянной, всегда невнимательной, не могла защитить от разных поклонов и приветствий: они тревожили беспрестанно это беспечное положение, этот отдых старика. Он иногда в ответ гостям только что улыбался, только что протягивал руку, а иногда и совсем отделял свое тело от мрамора. Впрочем, блестящая суматоха маскарада, великолепное разнообразие костюмов, женская красота – ничто не отвлекало его внимания от одного предмета, от особенной забавы. Он не вслушивался в пискливые, искаженные голоса, не ловил этих дивных, заманчивых слов, брошенных на воздух, прошептанных на ухо, не разгаданных никем, но зароненных в чье-нибудь сердце. Он наслаждался по-своему. Я беру его теперь в любопытную минуту шумного вечера и, может быть, в самую счастливую минуту старости. Разжалованный временем из актеров в зрители, без участия в резвой деятельности бала, без сочувствия к мелочным восторгам, к мелочному отчаянью, к миллионам этих взглядов и надежд, которые сверкали перед ним в вальсе или разгорались в кадрилиях, он, верно, вспомнил бы невозвратимые годы, пожалел бы, что нет у него более сердца для всех впечатлений и головы для всякого замысла, если б не нашел тут пищи, необходимой для старческой жизни, утешения, единственного в некоторые лета; если бы не знал, куда поместить ему усмешку разочарования и язвительное слово опыта. Невольное равнодушие, благоприобретенную бесчувственность старик должен же употребить в дело, должен же при случае похвастать своим несчастным преимуществом; а потому как он рад, если может кольнуть вас за ошибку, подшутить над опрометчивостью, предсказать неудачу и глядеть на огненные заблуждения молодости. Кто ничего уже не ждет, тот любит доказывать себе, что всякое ожидание – суета, вздор; и старик лелеял эту благосклонную мысль, когда тешился над едва притаенным нетерпением двадцатилетней вдовы, своей очаровательной племянницы. Она, драгоценный камень в роскошной оправе фантастического наряда, стояла по другую сторону вазы. Тут был центр бального мира, тут был вечерний гений, который метал в толпу цветы поэзии. Около нее теснились маски: то, как История, надоедали ей правдой, то, как Повесть, старались лгать обольстительно. Они сыпали свое беглое красноречие, силились перебить, затереть, перешуметь друг друга; но странно, никому не удавалось подстрекнуть искреннего любопытства молодой вдовы. Никто не отыскал этого верного звука, который манит за собою воображение женщины, от которого непременно встрепетается она и вдруг увидит только вас, и пойдет, мечтая, за вашим привлекательным звуком, и бросит всех, и посреди непроходимого многолюдства уединится с вами: спрячется за колонной, присядет на незаметный стул, отдаст вам свой слух, свое зрение, свою душу и спросит: кто вы?.. и потеряется весело в лабиринте вашего маскарадного вымысла.

Правда, одна маска заставила ее оглянуться пристально. Эта маска была одета в широкое черное платье, вышитое золотыми блестками. Остроконечная шапка, обвитая знаками зодиака, в руке золотой пруттик, пояс, унизанный спереди бриллиантами, и сморщенные черты страшной старухи – вот остальные подробности наряда. Впрочем, взгляд ее разногласил резко с поддельной наружностью, потому что мелькал молодо в прорезах накладного лица. Долго она

стояла молча, неподвижно, но часто шевелился ее золотой прутик, как будто он один принимал все впечатления, все, что переносили ей глаза и уши – эти доносчики души. Она видела, она перечла, может быть, сколько живописных щеголей поглядывало на юную вдову издали, в промежутках голов, с ясным желанием достигнуть поближе; но изнеженные шаги, вежливые сердца не годились, чтоб сражаться против толпы. Она видела, как иной офицер, полный силы и забвения, врезывался в эти ряды неприятелей, падал с неба в середину тесного круга и, звонко пристукнув шпорой и нежно наклонив свой мужской стан, чтобы сравнять его с прелестным ростом женщины, уносил ее на дерзкой руке... Я не знаю, каким образом картина чужого торжества ложилась на душу этой маски и что скрывалось под нею – красота или безобразие. Только не все тайны мира были известны волшебнице, потому что в ее осанке, в ее ледяном спокойствии обнаруживалось сосредоточенное любопытство, намерение наблюдать. Она не старалась привлечь на себя чьего-либо внимания, не искала легких утех женскому самолюбию, но, напитанная какой-то непроницаемой думой, медленно и важно повертывалась, следуя за всеми движениями резкой вдовы. В эту минуту жизнь мнимой колдуньи поглощалась совершенно сиянием чужой жизни; в ту минуту она напоминала то несметное число людей, пущенных на свет без собственного дела, без собственной физиономии, а во славу или в проклятие других людей, понятных только возле кого-нибудь и без кого-нибудь невозможных, как спутник без планеты, как зависть без славы, как мщенье без обиды. Наконец маска, вероятно соскучась от бездействия, выдвинулась из-за вазы и вмешалась в толпу. Если нельзя было делать догадок по изменениям ее лица об изменениях ее мыслей, то по крайней мере золотой Прутик намекал несколько о внутренних волнениях незнакомки. Прежде он вертелся у нее в руках как единственное существо, которое назначала она в мученики своих причуд, шуток или досады; теперь упал вдоль ее стана и, блистая, протянулся спокойно на черном платье, как будто по приказу своей повелительницы уступал место ее другой игрушке. Маска подошла к вдове.

– Графиня, – сказала она, согнувшись старухой, поддельваясь к этому выговору, которому время учит нас даром, и таинственно касаясь почти уха той, с кем говорила, – я читаю в вашем сердце, все изгибы его открыты моей науке: вы смеетесь, а вам скучно, вы надеетесь, а ваша надежда – дым...

Графиня повернула голову и взглянула через плечо на маску, как женщина, готовая встретить всякое нечаянное нападение искусственными приемами опытного лица.

– Есть люди, – продолжала шепотом неотвязчивая колдунья, – на которых не действуют и ваша глаза.

– Право? – При этом слове графиня улыбнулась с восхитительным простодушием.

– А вы не догадываетесь!.. да, я знаю, что вы несчастны, а помочь вам нельзя... Хотите ли, я объясню, что было и что будет?

– Я не люблю доискиваться смысла в том, чего не понимаю с первого раза. – И графиня отвернулась так проворно, как будто поняла.

Их тотчас разделили. Маска пропала. Шумно другие заступали ее место. Между тем племянница защищалась также от немых нападений дяди. Колдунья хотела испугать женщину злым всезнанием, но женщина боялась добрых насмешек. В то время, когда рвали на части ее внимание, когда язык и улыбка ее поспевали на все стороны, в то время ни хаос слов, ни мельканье лиц, ни ослепительная пестрота не могли вполне овладеть ею. Она не забывала ни на минуту, что в нескольких шагах стоял испытующий старик.

Ласково и насмешливо глядели на нее его маленькие пронырливые глаза. Они беспрестанно прокладывали себе новую воздушную тропинку: там через голову карлы, который подвертывался к великану, там между обольстительных плеч, сквозь чудных локонов, и беспрестанно пробирались к графине, только не заставляли ее врасплох. Она отгадывала заранее их появление, она встречала их с таким же дальновидным, непостижимым проворством, с каким часовой предчувствует офицера, с каким подчиненный ловит на бале взгляд забывчивого и

рассеянного начальника, чтобы поклониться ему в десятый раз. Что ни делалось около нее, о чем ни говорили с нею, ей виднелся дядя, и взгляды их сталкивались, и она, казалось, торопливо повторяла ему на языке своего милого лица: «Я тут, тут все»... но этим суетливым желанием отразить шутку, этой охотой обороняться, этой вечной готовностью к ответу графиня изменяла себе, потому что оправдываться не значит ли признаваться? И было так. «Тут все». А как скоро она освобождалась из-под влияния магнитной насмешки, которая, при всем своем радушии, при всей невинной ничтожности, потрясла целое здание женской гордости, вызывала на нестерпимую откровенность и по милости которой женщина рада бы простоять весь бал возле вазы; как скоро заслоняли старика и он исчезал в приливах маскарада, – о! в эту секунду лорнет графини прирастал к ее глазам; ее любопытный и яркий взор вспыхивал свободой, обнимал разом всю залу, впивался бегло в черты каждого, хотел проскользнуть к дверям, ошарить углы... В эту секунду она слышала и шорох далеких шагов и скрип кареты, она видела и чувствовала всех... Я не говорю об окружающих. С ними графиня поступала, как с сочинением приятеля, потому что улыбалась с восторгом, чуть ли не именно в тех местах, где они надеялись на слезу. Но лорнет падал с глаз, но вдохновенная секунда – недолго; опять дядя, опять кавалеры, дамы... Чтобы расплатиться с ними за украденное мгновение, надо было твердить им без умолку: «Я ваша, мой слух, мой язык, моя душа принадлежат вам», – и графиня щедрее разбрасывала слова, пристальной взглядывала, живая, опрометчивая, обворожительная своей всенародной приветливостью, своим дешевым участием.

На ней было белое газовое платье. Крепко прильнув к ее пышной груди, к гибкому стану, оно раскидывалось вдруг на тысячу небрежных складок и широко и важно ниспадало потом до ее ног, где обвивалась около него легкая серебряная гирлянда виноградных кистей. Как перевязь рыцаря, как подарок любви или награда за подвиг, опускался нежно с ее правого плеча под левую руку розовый шарф, и на нем светилась продольная кайма, серебряные листья винограда. Темно-русые волосы своими причудливыми кудрями не мешали полному сиянию красоты, не накидывали теней на мечтательную белизну лица, но спокойно, но просто уложенные по вискам оставляли переднюю часть головы для других украшений природы и все соединялись сзади в одну густую горизонтальную косу, на которой носилось по сторонам два газовых вуалей, розовый и белый, усеянные двумя мирами серебряных звезд. Несколько дрожащих локонов отпадало от этой косы, украденной у Древней Греции, с головы Дианы. В руке у графини был букет из разноцветных анемонов, называемых будто бы по-русски ветреницами, а на лбу сверкала утренняя звезда из бриллиантов. Однако же ничто в ней, кроме девственных красок наряда, не напоминало невинного утра, патриархальной простоты рассвета. Это была скорее звезда вечера, которая не умиляет души, а будит воображение и светит бессоннице. Ее главную красоту составляли блестящие глаза, блестящие в точном значении слова. Вечно в искрах, вечно в лучах, они не давали возможности взглянуть в их цвет. Бог знает откуда берется у нас этот необыкновенный блеск, это явление Юга. Зависит ли он от материального устройства органа, от чистоты стеклянной влаги, от прозрачности роговой оболочки, или скроется тут какая-нибудь надменная часть души, – только никогда не приписывайте его неугасимой чувствительности сердца. У нас на севере блестящие глаза вероломнее тусклых – это не наша природа, это обман, искушение, это яркая вывеска все той же родной зимы, это тот же снег, но снег, подернутый солнцем.

И графиня не потупляла глаз... существо, которому судьба велела пронестись резво над землей и не заметить, что там делается, и не зацепиться ни за одну горесть. Ее длинные, переломленные кверху ресницы, ее дивно скругленный, чуть-чуть приподнятый, алый подбородок – все ее черты тянулись гордо к небу; и стоило вам быть у ног ее, чтобы она вас не увидела. Теперь, мне кажется, нельзя не отгадать, каким образом действовали на нее шекотливые слова маски и что она чувствовала, когда неугомонный дядя, медленно опуская правую руку за

жилет, а в левой перебирая часовую цепочку и, как жеманная невеста, наклонив двусмысленно голову, сказал самым сострадательным тоном:

– Друг мой, уже половина двенадцатого, – и вкрадчиво приподнял глаза на племянницу. Много было смысла в замечании старика, судя по ее умной, беспечной и сколько можно веселой усмешке.

Но что отвечать на истину, которая понятна и кстати? Как не наказать за правду? Графиня ударила его по пальцам своим букетом, бросила кому-то на плечо левую руку, скользнула раза два и исчезла, сливаясь с радужными отливами костюмов. Музыка невидимого оркестра стройными звуками разлеталась в благоуханном пространстве залы. Я ошибаюсь, это была не зала, самая бесхарактерная комната в доме!.. Что такое зала? Голые стены, ряд стульев, площадь, где семейная жизнь не оставляет ни следов, ни воспоминаний. Это была гостиная, обращаемая иногда в залу, это была зала в старинном уборе гостиной. Она сохранилась еще в том виде, какой нравился предкам; ее не искажил еще новый вкус и не ограбило разоренье. Легкий свод потолка, расписанного клетками, опирался на карниз, который с своими завитками коринфского ордена смело высовывался вперед и резко отделял округлую форму, подобие неба, от плоских линий земли. В вышине на противоположных концах было два таинственных углубления, загороженных ослепительными решетками бесчисленных свеч. Золотые стрелы амура сверкали из-под шелковых тканей над высокими и узкими окнами. Тяжелая бронза горела на малахитах и мозаиках. Но что более всего могло изумить разборчивого жителя Москвы, это предметы искусств, рассыпанные щедрою рукою, богатство, траченное не на одни чувственные наслаждения, это камин каррарского мрамора итальянской работы, это южное изящество ваз, это картины, которые от самого карниза вплоть до штофных диванов и кресел, мятых некогда бабушками, покрывали все стены. Не было промежутка, где бы вы опомнились от волшебного обаяния мраморов, света и живописи. Там монах на молитве Рубенса, тут портрет Ван-Дейка, Венера Тициана... и если бы вам захотелось злобно заглянуть под эти картины, вы не встретили бы под ними голых признаков мелкой расчетливости: под ними тот же дорогой штоф, то же гордое богатство, которое золотит для себя, а не для вас. Наполните же эту гостиную или залу костюмами всех народов, всех веков и женской фантазии, одушевите блистательной толпою, лучшими перлами Москвы и забудьте, что есть другой мир, другая жизнь, и отдохните, без греха, от лохмотьев, от уличной грязи человечества, от бестолковых неурожаев. Бросьте сюда графиню с ее розовым и белым вуалями, которые выются в вальсе так близко возле полуобнаженных плеч...

Когда кавалер примчался с нею на прежнее место, тут явилось новое лицо. Шутливый старик вышел на время из своей роли, добросердечная радость сменила выражение насмешки, и он, дружески сжимая руку гостя, говорил:

– А, доктор, вот, наконец, и вы; давно ли воротились? Я думал, вы совсем пропадете, забудете меня...

Потом отшатнулся назад и опять облокотился на мрамор. Доктор потупил умные глаза, вручил свою руку в полное распоряжение хозяина дома и стоял окаменелым поклоном. Первая встреча после долгой разлуки, какая бы ни была короткость между людьми, начинается всегда не тем, чем кончилось знакомство при расставании, а обыкновенно тяжелыми приемами недоверчивой вежливости, особенно со стороны человека, который ниже своего приятеля, и еще пуще со стороны доктора, который рад случаю быть с вами похолоднее, потому что должен бояться дружеских связей: дружба платит одними чувствами, монетой сердца. Его значительная наружность представляла странные противоречия: белый галстук, единственный в маскараде, и серые растрепанные бакенбарды; глубокие морщины на лбу и тонкие черные брови; остатки волос на затылке и на висках, кое-где седые, кое-где черные, в таком состоянии упадка, что видно было – нечего или некогда о них хлопотать, и красные щеки, признак вечного аппетита у докторов. Он начал мало-помалу оживать, как статуя Пигмалиона, и приходило в

первобытное положение, то есть становиться на ту ногу, на какой принят был в этом доме с незапамятных времен. Доктор был из русских немцев, а потому говорил по-русски лучше, чем русские, а потому можете представить, как ответ его на приветствие хозяина сперва показался в виде боязливой оторопости, потом пустил корни, потом разросся многоветвистым деревом и обнял все здоровые части общества. Больные, дело знакомое, надоели ему. Он объявил, что едва успел переодеться, что сейчас из Петербурга, и уже несколько раз два пальца его опускались в незакрываемую табакерку и несколько раз глубокомысленно останавливались в воздухе. Чем более выказывал он свое красноречие, тем приметнее слушал себя: привычка, которая тут была кстати, потому что его собеседник скоро переставал слушать. Графиня, завидя, наконец, доктора, бросилась к нему, и пожала по-мужски его руку и обрадовалась; но ее появление дало тотчас другой оборот разговору и настроило мысли дяди на прежний лад.

– Я крайне доволен, что вы приехали, – сказал он печально, – мне нужно серьезно поговорить с вами о здоровье племянницы...

– Пожалуйста, не слушайте дядюшки, – прервала она и, чтобы вытеснить его из разговора, подвинулась к доктору. – Не правда ли, костюм черкешенки прекрасен.

– Прекрасен, – отвечал доктор, которому не видно было черкешенки, закрыл табакерку и улыбнулся так искусно, что его улыбка не показалась бы дерзкой, если графиня в самом деле больна, и глупой, если здорова.

В это время одна маска вздохнула около нее, тихо простонала ей на ухо: «Увы, он не будет», – и скрылась.

– Вот видите, – продолжал хозяин дома, – на ваши обыкновенные средства я не надеюсь, да и гомеопатия не годится, разве магнетизм...

Доктор улыбнулся яснее.

– Да что же нам здесь делать, сядемте в вист... Ольга, друг мой, не сердись, уж я не виноват...

Музыка проиграла ритурнель французской кадрили, и какой-то офицер стал перед графиней в немом ожидании. Она смеялась, поглядывая на все стороны. Вдруг еще одна маска в белом домино – это была, вероятно, союзная держава – проворно подошла к ней, заслонила кавалера, прошептала: «Вот он», – и взглянула на двери. Графиня быстро отвернулась от дверей, глаза ее смотрели уже никуда, ее лицо успокоилось, с него исчезли суетливость, нетерпение, но не выразилось на нем это спокойствие счастья, эта уверенность, что достигнута цель, за которой нет другой. Какая-то пленительная робость мелькнула в ее движениях и какая-то задумчивость в чертах!.. Где таинственная колдунья, где злая пророчица, предсказавшая сейчас, что он не будет?.. Они увидят его и ее. Здесь так светло, так много свидетелей для торжества и унижения. Графиня подала руку кавалеру и рассеянно повела его в ту кадрили, которая составила недалеко от входа в залу... Он что-то повторял ей: «Наш визави, наш визави», – только этого, кажется, она и не слыхала. Ее дядя отправлялся в дальние комнаты, а доктор тянулся за ним.

– Кто это?

– В первый раз вижу.

Этот вопрос с ответом разменяли между собой, скользнув друг возле друга в первой фигуре кадрили, прекрасная еврейка и один сочинитель, который писал прозой и которого все называли стихотворцем. У сочинителей про кого на бале ни спроси, никого не знают.

– Как хорош! – сказала молодая турчанка, приподнимая лорнет, – в нем есть что-то а la Fra-Diavolo¹.

¹ Вроде Фра-Диаволо (*фр.*).

– Вот что вам нравится, – произнес с глубоким чувством собственного достоинства ее картинка-кавалер, шаркнув проворно вперед, чтоб начать вторую фигуру, и поглядывая с отчаянным разочарованием на зеленый листок, воткнутый в петлю его фрака.

– Да, Левин человек богатый, – отвечал кому-то круглый и угрюмый старик, стукнул двумя пальцами о табакерку и взглянул в потолок с видимой уверенностью, что на этой ярмарке слов он один сказал дело.

Четыре глаза смирили тотчас рост богатого.

Между тем иные кавалеры доказывали своим юным дамам, что он носит усы так, что он никогда не был военным, а иные утверждали настойчиво, что он служил в гвардии.

Одна графиня, хотя из танцующих она пришлась едва ли не ближе всех к дверям, одна графиня не обращала никакого внимания на посторонние предметы, но, полная светской нежности, занималась офицером, который выпал ей на часть и отличался удивительной молчаливостью, занималась так усердно, как будто хотела непременно добиться звуков его голоса и пробудить душу, вероятно чуткую только к великим подвигам войны.

Многие маски, вытесненные кадрилями, разбрелись шуметь по соседственным комнатам, гостиная стала как-то светлей, картины как-то великолепней, – это была минута безотчетной поэзии, торжественная минута роскоши; какое-то единство изящества одушевляло прелестные образы, разноплеменные одежды и мирило Запад с Востоком, прошедшее с настоящим; какие-то виденья, околдованные музыкой, проносились мерно перед памятниками умершего искусства; какая-то жизнь, изорванная на бесчисленные доли, но неугомонная, но вечно новая, вечно говорливая, резвилась тут в насмешку неподвижной, окаменелой красоте мраморов и живописи. И если б вы, чтобы дополнить эту массу жизни, вздумали сблизить обе ее стороны, посмотреть на изнанку ее праздничного платья, на эти признаки неминуемого разрушения, эти смертные пятна, которые тщательно прячет она, танцуя, под золото да под жемчуг; если б вы причудливо с одного конца залы перекинули свой взгляд на другой, через мелкое поколение нашего века, – то на этом пестром полотне, под яркими лучами света, из самой глубины картины, резко выставилась бы спокойная фигура высокого мужчины в черной венециане.

Зачем он тут? зачем это лицо полупрекрасное, полустрадальческое, намек о горькой тайне, о язвах души?.. Как быть!.. Мы не умеем уже страдать в четырех стенах и выплакивать себе там невидимых утешителей... Не подделался ли он с намерением под героев Байрона, чтоб еще раз представить нам карикатуру на них и блеснуть сердцем, заглохшим под пеплом страстей?.. Нет, эта мода прошла: надо равняться со всеми, смешно быть занимательным, потому что наши дерзкие глубокомысленные Наполеоны, наши мрачные рассеянные Байроны, ходячие Элегии – все изверились, ни у кого не было за душой ни тяжких дум, ни немного отчаяния.

Левин стоял у дверей. Все танцевало перед ним. Длинные усы и рост давали ему мужественный вид. На бледных и худых щеках показывались два алых пятна. Заметно было, что он старался за туалетом привести в надлежащий порядок свои густые волосы; но искусственная прическа не удастся никогда гениальности и несчастью. В противоположность впечатлению от усов и роста кожа его лица сохраняла еще всю привлекательность слабости, всю прозрачность невинности; вообще что-то тихое, святое выражали его черты, как будто он явился на бал под влиянием изнурительной болезни, которая, прежде чем успеет положить на вас клеймо безобразного разрушения, прежде чем станет более и более соединять тело с землею, – отнимает сперва у плоти ее животную вещественность, сотрет с лица грубые краски, потушит в глазах сладострастный огонь, и на одно мгновение побледневшая красота делается нежнее, угасающий взор добродетельнее.

Левину было лет тридцать. Он приехал в Москву месяца за два до этого маскарада. Его знали немногие и знали только – богат он или беден, молод или стар, служит или в отставке, женат или нет, то есть эти пошлые изменения жизни, эти обыкновенные оттенки, эту выпук-

лую поверхность, приклеенную к выгодам корыстного общества. Сам же по себе человек, ряд мыслей и чувств, которые он прожил – кому нужны?.. Левин ограничился тесным кругом знакомства и часто бывал у дяди графини. Видая его в свете, нельзя было решить, к чему он более равнодушен – к людям или к уединению. Редко оживлялись его большие томные глаза, но это походило на вспышку болезни. Часто он улыбался, но это была улыбка ласки, а не удовольствия. О чем бы ни стали говорить ему, он слушал все с одинаковым вниманием и охотно погружался в рассматривание каждого предмета. Казалось, что в его сердце доставало теплоты, а в его уме объема для целого мира, но между тем никогда порывов, никогда желанья намекнуть о себе, никогда любимой, исключительной мысли, чтоб было, на что нанизать разбросанные жемчужины образованной беседы. Точно он от вихря впечатлений не уберег и не хотел уберечь ничего. Это был англичанин, холодно любопытный и непотрясаемый, это было вежливое море, которое радушно принимает всякую реку, да на котором потом не сыщешь ее следа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.